

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
В49

Любое использование материала данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается.

Оформление переплета — *Яна Половцева*

Иллюстрация на переплете — *Ева Эллер*
[Instagram.com/eva_eller_art](https://www.instagram.com/eva_eller_art)

Виноградов, А.Г.

В49 Не ум.гу : [роман] / Виноградов Андрей Георгиевич. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 320 с. — (Книга для счастья).

ISBN 978-5-17-121426-5

Андрей Виноградов — признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл».

Этот роман — череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они — эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© А.Г. Виноградов, 2020
© Д. Филатов. Иллюстрация, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020

«ДЗЕНСКИЕ» СЛОЖНОСТИ

Лин-чи расслабленно и, казалось, бездумно сидел на берегу реки, но философу после долгих трудов всё же удалось разыскать его. Философ подошёл сбоку, справа, по наитию, а возможно, сплачивая дань неведомой мне традиции. Вслед за этим он низко поклонился, привлекая к себе внимание, в надежде на взгляд, тихо, вежливо кашлянул, будто удалил изо рта то, что заведомо не заслуживало быть облечённым в произносимые слова, и задал вопрос:

— Какова суть вашего учения? — спросил он, обиняком признавая за Лин-чи титул наставника.

Лин-чи повернул к нему щедро отмеченное годами лицо, окинул обидным для философа недолгим, лишённым интереса взглядом, и не произнёс ни слова.

Философ подумал: «Он стар и, наверное, глух как тетерев». Тогда он возвысил голос:

— Вы не услышали меня, учитель, и я повторю: какова суть вашего послания?!

Тут Лин-чи неожиданно засмеялся. Совсем по-мальчишески. Как ребёнок, впервые увидевший взрослого, пускающего дым изо рта.

Философ загрустил, подавляя расстройством нараставшее в душе раздражение: «Совсем выжил из ума. Сперва не ответил, теперь вон смеётся... Может, он не слышал мой вопрос?»

И он прокричал что есть силы:

— Какова суть вашего учения?!

Лин-чи спокойно ответил:

— Не стоит так напрягаться, ты сорвёшь голос или, что еще хуже, — испортишь этот прекрасный воздух. Сначала я ответил тебе: «Безмолвие», но ты не понял, не внял разъяснению и вынудил меня спуститься ниже... — С этими словами старец пальцем начертал на песке «Медитация». — Вот моё учение. Его Суть, Смысл и Путь.

Учёный поклонился еще раз, так же глубоко. Ему нужно было время, чтобы в маске подобострастия скрыть следы недовольства. Выпрямившись, он дерзнул спросить:

— Не могли бы вы придать своему ответу большей... хм... чёткости?

В ответ на пожелание философа Лин-чи повторил надпись на песке. На этот раз он выполнил ее так крупно, как только позволяла длина руки. Получилось намного чётче, чем в предыдущий раз.

— Вы всего лишь увеличили буквы! — вознегодовал учёный. — Это неэтично. Со мной так нельзя, я все же профессор философии!

— Почему же вы сразу не сказали?! — воскликнул Лин-чи чуть ли не с восторгом и вывел на песке: «НЕ УМ».

Профессор в сердцах хлопнул себя по лбу открытой ладонью, будто невысказанную мысль пришил — злопамятен, но сдержан, — и ушёл, не попрощавшись.

«Ну что за спесивый мудака! — осудил я философа, но после необременительного размышления лишил вывод поверхностной односторонности: — Оба хороши. И вообще — прочь с иностранщиной! Своей зауми — уши пухнут».

Приземление мысли в родных пенатах обошлось без приключений, но место оказалось заселено унынием и безнадегой. Место бравурного приветствия занимал транспарант, адресно оповещавший, что самый спесивый мудака из всех самых спесивых мудаков — это я. «За это мир тебя и сдал!»

МОЙ МИР

Да, всё так и есть: этот мир меня сдал. Сперва, оправдываясь за содеянное, он паникёром метался по моей квартире и скороговоркой разноязычно что-то мне растолковывал. Возможно, извинялся, оправдывался. С равноценным успехом мог корить меня дураком, что сам во всем виноват, а ему теперь на пузе вертеться с никому ненужными разъяснениями. Мир не заморачивался с пылевыми торнадо, выбиваемыми из неухоженного ковра. В своё время мне посчастливилось убедить себя, что ковры коллекционируют пыль, это их главное по жизни хобби, и надо быть безжалостной скотиной, чтобы разрушать коллекцию, а я не такой. Мир чудил, я чихал, но мои проблемы никоим образом не вызывали в сущности мира надлежащего отклика. Глухой абонент. Даже здоровья не пожелал. Да и понятно, чего уж там: сдал уже. Потом он ни с того ни с сего замер напротив кресла, второго после письменного стола предмета моей тайной гордости. Тайной потому, что прослыть идиотом всегда успеется, а возможно всё уже состоялось, но проверять нет желания, да и правду никто не скажет. Разве кто чужой. А на кой черт мне чужих в дом пускать, да еще их мнением насчёт обстановки интересоваться? Да и случись такая немыслимая оказия, неужто сочту нужным считаться с высказанным? Мир наконец решился и вмиг угнезвился на потёртой кресельной подушке. К моему удивлению он оказался гораздо меньше, чем

я ожидал. И вообще выглядел довольно убогим, даже жалким. В кресле рядом с ним вполне мог уместиться еще один мир средней комплекции.

«А может быть он просто хочет исчезнуть? — задался я вопросом. — Как исчезают нужные вещи, оставляя никчёмный хлам; хорошие люди, одаривая нас послевкусием боли; добрые чувства, предлагая взамен то, от чего принято защищать детей и вообще близких; светлые страницы памяти, оставляя кошмары каждодневного беспамятства. Машинка...»

Мне показалось, мир понимает меня, и я, чтобы проверить, спросил:

— Машинка. Что осталось после нее?

— А ничего. Если не считать меня, — откликнулся мир.

— Без нее ты не тот.

— Ну... тебе видней, — явно обиделся мир, и я подумал, что сейчас меня будут наказывать.

— Стоило бы, — прочитал мир мои мысли. — Только ты сам со всем справился. Да так, что дальше некуда.

— Да ладно тебе, — подавил я в себе жажду активного спора. — Всегда есть куда дальше. Так что не ври.

— Да, я лжив, — легко согласился мир, принимая неразборчивую позу. — Тебе от этого легче?

— Да, — соврал я, понимая, что кто-то из двоих должен соврать. Иначе что это за диалог такой?

На этой интонации — я тоже способен вести игру! — сон оставил меня. Возможно решил, что способен-то я способен, да вот игра уже сыграна. Сука сон. И спасибо ему за то, что все вспомнил, и за слово «машинка». Еще не спугнув окончательно наваждение распахнутыми газами, я улыбнулся:

— Машинка?

Теперь жалеть себя будет проще. Ведь так долго у меня не выходило определить — что же именно сперва исполняло этюд обезьяны, беснующейся на клавишах моей жизни, а потом вдруг умолкло. Правильное слово всегда крайне важно.

Вот что действительно было странным во сне, так это совершенно невероятный способ, каким миру удалось со мной говорить. Ведь у него не было головы. Я плотно закрыл глаза и постарался вернуться туда, где, как верилось, меня ждали ответы. Для пущего эффекта я принялся считать баранов. На девяносто седьмом я понял, что продолжать смысла нет. Девяносто седьмой был с головой, и голова было в точности как моя. Если в результате тупого пересчёта баранов вас не ждёт ничего иного, кроме как встреча с зеркалом, то практически эту выдумала редкостная свинья. Возможно, поэтому и считаем баранов. Межвидовые разборки, а мы, как всегда, при деле и в дураках.

Таков мой мир. Это он меня сдал. То есть таков *был* мой мир. Но перед тем как свершить подлый акт, он всерьёз озадачил словом.

«Машинка».

Намекая тем самым на «сдачу».

ЧТО ОСТАЛОСЬ «НА СДАЧУ»

1

«Машинка?»

«Ну да, она и есть».

«Смешно».

«Тогда что это? Пусть уж лучше будет «машинка», чем... Чем ничего или что-то там, что никому не дано понять, но творит, собака, что только ей заблагорассудится».

«Доступное объяснение, нечего добавить. Вообще ничего не скажешь».

«А никто и не ждёт».

«Обиделся».

«Я на себя? Не сходи с ума, шизик».

«Это внутренний диалог. Внутри одной и той же душевно здоровой личности».

«Согласились. «Шизик» отозван до лучших времён».

«Для кого лучших...»

«Слушай, не отвлекайся уже, а?! Ма-шин-ка».

«Ах, да, машинка. И в нее... В нее по известному чьему чаянию-повелению-прихоти поместили карту моего пути. Сплошь непутёвую — вот же парадокс! — карту».

«Сразил наповал. Подписываюсь».

«А до этого...»

До этого машинка бойко строчила-строчила свои нервно-рваные пассажи. А потом взяла да и вдруг осеклась. Не случайно ведь поломалась. Кто бы сомне-

вался. К бабке не ходи, так и было задумано. Отчего-то на фольклорной глубине жизни принято считать, что без задумки, сами собой, только кошки рождаются. Мне, что и говорить, обидно за униженных уличением в бестолковости популярных животных, чьим почитателем я не являюсь. И любителем, кстати, тоже. Это, во-первых. Во-вторых, между задумкой и ее воплощением слишком часто пролегает дикая пустыня с ее иссушающими ветрами и песчаными бурями, способными до неузнаваемости обтесать любую идею. Итак, фантазия и свершение. Чаще частого непохожие, порой две крайности, что не мешает им родниться чудовищностью.

Ничего не скажу о задумке по моему скромному поводу, она мне неизвестна, а вот оценку ее воплощению выставить все же осмелюсь: чу-до-вищ-но-е! Был цветом до открыточной неестественности насыщенный кадр и вдруг — о как... — выцвел разом до мутно-коричнево-серой невыразительности.

Машинка умолкла неожиданно-негаданно. Будто наткнулась всей своей сущностью на новую мысль и задумалась. О чем-то своём, предметном, механическом. Вряд ли иссякли хаотично разбросанные дырки, сотворённые небесным перфоратором, я бы первым узнал. «Приехали...» — выдохнул бы совсем не гагаринское, наоборот. Так или иначе, но машинка вдруг прекратила городить в моей жизни таинственный узор, неведомый швейному делу. Но ведь и дело ни с какой стороны не швейное. Пусть и зашиваюсь в суете что ни день.

Потом всё вернулось, но не таким как было, драматически измененным. Ощущение, будто выпрыгнул из окна, с сумасшедшей верхотуры, а у самой мостовой вдруг одумался и повернул назад, но ошибся окном, домом, улицей, городом, страной. Происшедшее со мной позже, вплоть до сего дня, и близко не походило предыдущую вакханалию. Моя старо-новая или вторая, возможно, я заблуждаюсь в счете, жизнь явила собой полную противоположность предыдущей и сложилась шокирующе унылой. Судьба, если верить в нее, лишает

нас воли. Строгий ошейник, короткий поводок. Даже собака на таком поводке своенравничает больше. Потому что не верит в судьбу. Слова такого в собачьем языке нет. В то, чему нет слова, верить нельзя.

Так вместо богатого мушкетёрского фетра с невообразимым кустом из перьев я получил робкий котелок неприметного служащего. Из похоронной конторы? Мрачно, но не настолько же. Скорее уж земского врача. По-своему так и есть: по профессии я редактор, и в нашей «больничке» мы пытаемся лечить чужие мысли. Одни поддаются, нередко меняя авторство, но не имя автора; другие приходится хоронить, они неизлечимы. Или «лекарь» нерадив, что тоже сплошь и рядом случается. Земской врач из похоронной конторы. Как мило! Умереть можно от умиления. В моей литературной тетрадке есть бог весть когда сделанный претенциозный набросок, развивать который не нашлось смысла в силу его обнаружившейся завершённости.

Он подумал: «Взять бы да умереть!» До буквы именно так подумал. Именно что с восклицанием. «На террасе. С видом на морское без конца влажное, зыбкое, на неясные и непонятные огоньки вдалеке. Это маяк? Судно? Киты перемигиваются со звёздами? Жалуются, наверное, на свое китовое житье-бытье. У такого большого тела и горести должны быть под стать. Умереть здесь и сейчас было бы круто. Закрывать глаза и никогда больше не открывать, чтобы картинка не смазалась». Его услышали. Про картинку ничего сказать не могу — не в курсе, но всё прочее состоялось.

2

Вообразите себе мою новую... моё новое... даже не знаю что это. Только что, ваша правда, назвал «это» «второй жизнью». Но ведь нечто вполне определённое не может обходиться без определения? Что же до сути, то какая это к черту жизнь. Банальное чередование точ-

ки с тире. Бесконечное «а-а-а...», если вспомнить «морзянку», назначившую эту пару знаков препинания первой буквой алфавита почти во всех языках. Кроме тех, где вместо букв символы и ассорти из крючков и закорючек.

«А-а-а...»

И на одной ноте. Даже близко не ария. Разнообразия — ноль. Как промелькнувшее, но так и не сбывшееся в прошлом году, «бабье» лето.

«А обещали тепло. Вот и с погодой надули».

«Кто посмел?»

«Кто-кто? Будто сами не знаете!»

— Выключите, кто-нибудь, мать вашу, это ток-шоу! Такой сюжет.

Вот еще один.

Помню, как однажды, инфицированный писательством, а посему безголово ввергая себя, жаждущего новых познаний, в слои жизни непредсказуемой плотности, я оказался далеко на Севере. Разгулялся во мне непоседливый демон тщеславия. Я искал себя, образы, славы и где бы подальше схорониться от методично прогрызающей плешь жены. За последнее я был готов отдать почку, поменять ее, к примеру, на печень, раз уж почек две, но плохо владел курсом одного к другому и размен мог получиться невыгодным. Так метеорологи интуитивно владеют знанием про четыре времени года и пытаются, задаваки, пристроить его в обмен на народное понимание, но курс чудовищно не в их пользу, почти все усилия даром. С организмом такие трудности никому не нужны, я не исключение.

Чудовищно безразличный к людским нуждам снежный буран плотно привязал меня к номеру в гостинице и тамошнему общепиту. Да еще сны снились диалоговые, отрывочно-героические и эротические по догадке.

«У тебя конь есть?»

«Нет».

«Тогда направо ступай».

«А кабы был?»

«Тогда налево. Там за коня тако-ое удовольствие выменять можно...»

После таких снов аппетит богатырский. Я любопытствовал у соседа по истощённой безлюдьем гостиничной столовке на предмет кухонь разных народов мира. Или хотя бы одного народа, но с полноценной кухней. Где-либо по близости. Чтобы по дороге не вмёрзнуть в мечту о вкусном. В ответ плохо говорящий по-русски гражданин намалевал на салфетке какой-то ужас, до меня не сразу дошло, что это пурга. Добившись от моих глаз относительной ясности, он ткнул давно не пестованным ногтем в условную точку, потом указал перстом в пол и веско, как искатель сокровищ над кладом, изрёк:

— Тут!

Салфетка была в форме сердца. Возможно, ее художественно обкорнали для свадьбы. Но по ходу торжеств кто-то завистливый неудачно зажевал нижнее острие. От такого грубого, неэтичного вмешательства сердце заметно опечалилось и стало символично походить на задницу. Об этом я умолчал. Дипломат от природы. Ну и в знак благодарности художнику-краеведу.

— Тут, — отозвался я, опровергая легенду о заведомой тупости приезжих. Неважно куда, как и неважно откуда.

За согласие и восприимчивость к местным формам общения мне достались: похвала затейливым словом, печальная улыбка и ободряющее похлопывание по плечу. Невольно подумалось, что таким сложением мимики и жеста поощряют безнадежно тупых, но не самых упрямых. Тех, что по наитию, без злостного проникновения в суть подсказок, доверчиво внемлют голосу разума. Еще они любят в подпитии поддержать песню на незнакомом языке. Ну да бог с ними.

Слово я не разобрал и не запомнил. Возможно, оно одно означало всё, что я себе напридумывал. В конце

концов, языки коренных северян обязаны быть лаконичными. Чего лишний раз рот на морозе разевать? Другое дело в тепле.

После третьей рюмки без закуси Краевед хвалено расслабился, сносно затараторил по-русски, откликнувшись на мой шок откровением, что все дело в долге гостеприимства. Он, долг, и наделил его сверхспособностью говорить на языке гостя. Правда, неувязочка вышла: поил-то его я, но цепляться к сущим пустякам гостям не пристало, я и не стал. Тем более, что не в моих это было интересах. Чем еще, кроме выпивки, можно скрасить тоскливые дни бурана в гостиничке, не предполагавшей ни занятости, ни развлечений, как историями. Разумеется, из жизни.

Я бодро, щедро и, как показалось, к месту поделился с Краеведом личным опытом освоения горных трасс. В образе лыжника, в каком еще? Как я споро, изо всех сил, в равной степени не доверяя предшественникам и современникам, противостоял притяжению земли. Уповал, болван, на теорию относительности, на глубоко личное и гуманитарное ее понимание. Я даже заносчиво пообещал ее автору в случае успеха настоящий пирсинг на фотографический язык.

Гению не свезло. Я съёл первую линию ограждения и повис банановой шкуркой-переростком на второй. Беспольный после удара о пластмассовый столбик, сдвоенный цепким, не в пример лыжам, сноубордом — «Зато ботинки удобные, ходить одно удовольствие. Вы непременно оцените... Твари!» — и на тот момент неопределённо, но вполне возможно, что частично беззубый. Язык тут же принял заказ от мозга и опроверг опасения. Я же пожалел, что пренебрёг возможностью самому себе вставить в язык обещанную Эйнштейну железку: так было бы ободряюще слышать сейчас: «тык-тык-тык...» Ни единого пропуска, ксилофон во рту.

Пока пара дюжих спасателей выпрастывала меня из сетей, словно парадоксально обрадованную кулинарны-

ми перспективами рыбину, мое усталое, свернувшееся прокисшим молоком тело стало обретать чувствительность. Оживление совсем не цацкалось со мной, отзываясь болью там, где я умудрился ушибиться или потянуть. Надо сказать, что в руках моих французских избавителей оказалось и того меньше нежности. С другой стороны, их же не на эротические массажи натаскивали.

По ходу работ спасатели хлётко обменивались репликами на родном языке, мне недоступном. Тем не менее смысл аттестаций угадывался, несмотря на заученно деликатный отказ собеседников от слов интернационального звучания, вроде «идиот» или «кретин». Случись им отставить кошерность, я бы ни в коем случае не протестовал, даже не чувствовал бы себя уязвлённым — настолько болела промежность. В конце концов, операция по спасению успешно завершилась, и я, отделённый от доски, осторожно постигал ноги в коленях, пошевелил руками и даже попробовал присесть. К моей радости выяснилось, что по большей части организм с честью выдержал мои непреднамеренные кувырки. Я пообещал «в темпе» наградить его сочным стейком, но прежде всего, до выхода на заданный «темп», мне срочно требовалось чего-нибудь выпить. Поэтому от предложенного путешествия на рентген я отказался, подмахнул какую-то бумагею и смиренно попросил своих дюжих спасателей подбросить меня на снегоходе к кабинкам фуникулёра. Продолжать эксперименты с доской как-то расхотелось, а на заднем сиденье снегохода мне и вовсе подумалось: «Вот оно — мое! Быстро, стабильно, что вверх, что вниз. И не сам — везут!»

В местном баре на стойке в удивительно сплетённой клетке хозяйничала небольшая птица. Словоохотливый бармен из Кишинева уклончиво посетовал, что владелец птицы и заведения не он, при том, что задумывается о заманчивом — «Чай, не дурак какой!» — да вот незадача: не знает человек — с какой стороны к мечте

подступиться. Хозяин — «Вот кто урод!» — вроде бы есть, а вроде и нет его. «Такие дела...» Притащил однажды клетку с птицей, сказал, что из дому, и пожаловался, что птица его сильно пугает. Не ест, мол, клюв от еды нарочито воротит, сидит себе и непрерывно, хорошо хоть ненавязчиво, тихо, пощёлкивает клювом. Словно секунды жизни отмеряет. Хозяин разносолами хитрыми кормить ее взялся — все безуспешно, не ест. Поить — результат тот же, не пьёт. Попытался словами умаслить — бессмысленно: слушать слушает, тварь пернатая, а выводов никаких не делает. Потом птица умокла. Устала? Однообразие утомило? Может, надоело попросту клювом щелкать. С хозяином же, вопреки нажитым страхам, ничего не случилось. Ну, почти ничего. Ничего особенного. Остался мужик жить, как и раньше. Но утратил ту часть памяти, где объяснялось — *зачем*.

— С другой стороны, бар... — закруглил рассказ молдаванин. — Бар — не то место, где надо о смыслах думать. И память не сильно нужна, без нее всегда кто-нибудь найдётся, расскажет... Вот и непонятно тогда, чего такого в хозяине переменялось. А ведь как пить дать другим мужик стал.

Я одобрил направление мысли бармена и выпил сначала за общность целей недружных народов, потом за птицу. Третьей рюмке полагалось приманить удачу.

И тут вдруг почудилось мне, что слышу странные такие щелчки. Сперва едва различимые, потом чуть громче. Раз, два, три четыре, пять... Вдруг они прекратились. Ни с того ни с сего. Как и начались.

«Э, нет...» — мысленно отгородился я от сомнительных перспектив, расплатился по-быстрому и покинул «мутное» место. Недопитую бутылку без речей, обыденно вручил присоседившемуся интеллигентного вида старичку. Тот, оценив добычу скорей по объёму, чем по достоинству, пробормотал:

— Можете мною располагать сколь угодно долго. Молю.